



Анна Грей

ИЗМЕНА
БЫВШИЙ
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Анна Грей

Измена Бывший под подозрением

<https://litres.ru/74067348>

SelfPub; 2026

Аннотация

Семь месяцев назад Глеб ушёл от меня к молодой любовнице. Я научилась жить заново, вычеркнула его имя, перестала верить красивым словам.

А потом он позвонил среди ночи: «Она пропала. И они думают, что это я».

Его любовница исчезла. Все улики против него — машина у её дома, угрозы с его телефона, кровь на рубашке. Полиция уверена. Его мать требует, чтобы я спасла сына. А я смотрю на эти улики и вижу то, чего не видит никто: они слишком ровные. Будто кто-то аккуратно разложил их в ряд.

Я знаю Глеба лучше, чем любые камеры. И знаю: одно слово в той переписке он никогда бы не написал.

Я ненавижу его за предательство. Я не должна ему помогать. Но если я отвернусь — посадят невиновного, а настоящий убийца уйдёт. И, кажется, он уже понял, что я слишком много вижу. Чужая серьга в чужой квартире оказалась моей. Теперь под

подозрением не только бывший муж. Теперь следующей могу стать я.

Содержание

ПРОЛОГ.	5
ГЛАВА 1.	12
ГЛАВА 2.	23
ГЛАВА 3.	31
ГЛАВА 4.	37
ГЛАВА 5.	44
Г	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Анна Грей

Измена Бывший

под подозрением

ПРОЛОГ.

Телефон звонил долго, упрямо, как звонит только тот, кто знает, что ты не спишь, и не собирается из вежливости положить трубку после третьего гудка.

Я смотрела на экран и не брала.

«Глеб Ларин». Я не удалила его из контактов после развода. Не из сентиментальности, нет. Из вредности, наверное, или из той особой женской мстительности, которая хочет, чтобы предатель оставался подписан полным именем, а не растворился в безличном наборе цифр. Чтобы каждый раз, когда он позвонит по поводу очередной бумажки, я видела это имя целиком и вспоминала, кем он мне был и кем перестал быть.

Он не звонил месяцами. А теперь набирал в час, когда нормальные люди давно спят, а ненормальные пьют, плачут или принимают решения, о которых утром жалеют.

Палец завис над красной кнопкой. Я хотела сбросить и снова лечь. Хотела повернуться к стене и сделать вид, что

меня нет, что той женщины, которая тринадцать лет прибегала на его зов, больше не существует.

И всё-таки взяла. Сама не знаю почему.

— Ты вообще на часы смотрел, когда набирал?

В трубке молчали. Не та властная пауза, которой он умел давить на переговорах, заставляя собеседника заполнять тишину и проговариваться. Другая. Будто человек на том конце набрал воздуха и не смог вытолкнуть слова обратно.

— Вероника.

Одно моё имя. И по тому, как он его произнёс, мне впервые за долгие месяцы стало не всё равно.

Голос был не его. То есть его, конечно, я узнала бы этот голос из тысячи, я просыпалась под него полжизни. Но интонация чужая. Из Глеба будто вынули стержень, на котором он держался все годы, что я его знала, и осталась оболочка, говорящая севшим, загнанным тоном.

— Что случилось? — я села на кровати, подтянула колени.

— Глеб, ты пьян?

— Она пропала.

Я молчала.

— И они думают, что это я.

Первой пришла злость. Знакомая, привычная, почти родная злость, которую я за семь месяцев научилась носить как пальто не по сезону: неудобно, жмёт, но снимать страшно, потому что под ним пусто.

«Она». Я даже не сразу сообразила, о ком речь. А когда сообразила, во мне поднялось такое, что захотелось швырнуть телефон в стену.

— Подожди. Ты мне про свою бабу среди ночи звонишь?

— Вероника, послушай...

— Нет, это ты послушай. — Я уже встала, ходила по комнате, прижимая телефон к уху так, что заболело. — Семь месяцев. Семь месяцев тишины, Глеб. Ты не позвонил ни разу. Ни на мой день рождения, ни просто так, по-человечески, спросить, жива ли я вообще после всего, что ты устроил. А теперь у тебя что-то стряслось с твоей... с этой, и ты набираешь меня. Знаешь, кому звонят в такое время? Тому, кого не стыдно разбудить. А меня тебе можно. Удобно. Я же бывшая, я перетерплю.

Я ждала, что он огрызнётся. Раньше он огрызался всегда, у него на любой мой выпад находился готовый ответ, отточенный, холодный, бьющий в самое больное место. Он умел спорить так, что я начинала чувствовать себя виноватой за то, что вообще открыла рот.

Сейчас он не сказал ничего.

И вот это молчание напугало меня сильнее любых слов. Глеб, который не защищается. Глеб, который проглотил «свою бабу» и не швырнул в ответ что-нибудь про мою истеричность. Так молчат, когда уже всё равно. Или когда виноваты так сильно, что любое слово только утяжелит.

— Глеб.

— Я здесь.

— Что значит «пропала»? Куда пропала? Что у тебя там вообще происходит?

Он начал говорить, и я почти не вникала в слова, потому что в трубке вдруг возник второй голос.

Мужской. Спокойный, ровный, рабочий. Так разговаривают люди, для которых чужая беда — это смена, восемь часов, протокол и подпись внизу страницы. Голос обращался к Глебу, и обращался по фамилии.

— Ларин. Заканчивайте.

Не «Глеб Андреевич». Не «уважаемый». Просто фамилия, коротко, как окликают того, кто уже не распоряжается ни своим временем, ни своим телефоном, ни, кажется, собственной жизнью.

Я опустилась на край кровати.

Полиция. Рядом с ним сейчас стояла полиция, и эти люди разрешили ему один звонок, и он потратил его не на адвоката, не на мать, не на партнёров, которые вытащили бы его из чего угодно за хорошие деньги.

Он позвонил мне.

— Глеб, кто это рядом с тобой?

— Мне пора. — Голос у него совсем сел. — Ника, я не знаю, зачем набрал. Прости, что разбудил. Просто... ты единственная, кто меня знает по-настоящему. Знал.

Ника. Так меня называл только он, и только в те годы, ко-

гда между нами ещё не выросло то, что выросло. Я думала, это слово давно умерло вместе с нами прежними.

— Подожди! Глеб, не вешай. Объясни нормально, что... Связь оборвалась.

Я сидела с телефоном в руке, и экран медленно погас, оставив в комнате темноту и моё отражение в чёрном стекле, которое я не хотела разглядывать.

«Она пропала. И они думают, что это я».

Я повторяла про себя эту фразу и пыталась нащупать в себе хоть что-нибудь определённое. Должно же быть. Когда тебе среди ночи звонит бывший муж, которого, возможно, подозревают в чём-то страшном, ты обязана что-то чувствовать. Торжество. Или ужас. Или хотя бы любопытство.

А во мне было пусто и гулко, будто в квартире, из которой вывезли мебель.

Манипуляция, сказала я себе. Конечно, манипуляция. Он всю жизнь умел переложить свою тяжесть на чужие плечи, а мои плечи были при нём так долго, что он по привычке потянулся к ним и теперь. Влип в очередную историю со своей разлучницей, и первая мысль — позвонить Веронике. Вероника разрулит. Вероника всегда разруливала.

Я знала, как это бывает. Налоговая, недострой, скандал с подрядчиком, обиженный партнёр, грозящий судом, — что угодно могло случиться, и всегда случалось со мной рядом. Я сидела ночами над его документами, я звонила нужным лю-

дям, я подбирала слова для тех переговоров, которые он сам провалил бы за пять минут своим характером. Он строил дома и компанию, а я строила вокруг него защиту, тихо, незаметно, так, что он и сам поверил, будто справляется один.

А потом справился. Нашёл, кому улыбаться вместо меня. Молодую, восхищённую, не задающую неудобных вопросов про сметы и сроки.

И вот теперь его улыбающаяся молодая куда-то делась, а он звонит мне.

Я легла и до утра считала трещины на потолке, которые в новой квартире успела выучить наизусть. Их было четыре, и каждую я знала, как знают давнего соседа, с которым не здороваешься, но в лицо помнишь.

Не уснула.

Утром я всё-таки взяла телефон, чтобы посмотреть время, и пальцы сами собой ушли в новостную ленту, как уходят к больному зубу, который трогать нельзя, а не трогать невозможно.

Заголовок я увидела сразу. Он стоял первым, будто кто-то нарочно положил его туда, чтобы я не промахнулась.

Фотография Глеба. Деловая, со старого корпоративного сайта, где он в светлой рубашке улыбается так, как улыбаются мужчины, уверенные, что им принадлежит весь мир и немного сверху.

«Пропала сотрудница строительной компании. Под по-

дозрением — её руководитель и предполагаемый близкий друг».

А ниже, в подписи под фотографией, среди прочих слов про компанию и про следствие, стояло короткое уточнение.

Моё имя.

Бывшая жена бизнесмена, Вероника Ларина.

Я всё ещё носила его фамилию. Не сменила после развода, всё руки не доходили, всё откладывала, как откладываю неприятный, но не срочный поход к врачу. И теперь эта фамилия лежала в новостной ленте рядом с его лицом и с чужой пропавшей женщиной, связывая меня с ними обоими так крепко, будто я никуда и не уходила.

Я положила телефон на стол экраном вниз.

Потом перевернула обратно и перечитала подпись ещё раз, медленно, по слову, словно надеялась, что в первый раз ошиблась и там стоит чьё-то другое имя.

Там стояло моё.

ГЛАВА 1.

— Садитесь, Вероника Андреевна. Развод официально оформлен когда?

Меня вели по коридору так быстро, что я едва успела сообразить, в какой кабинет сворачиваем, и вот уже стул, стол, женщина напротив, и первый вопрос летит в меня раньше, чем я опускаюсь на сиденье.

— Поздней весной. Семь месяцев назад.

— Причина?

Я сняла очки. Те самые, для чтения, которых не было в начале нашего брака и которые завелись у меня недавно, ближе к концу, когда разбирать чужие сметы и собственную жизнь стало одинаково мелко. Сняла и принялась протирать стекло краем шарфа, хотя стекло было идеально чистым.

— Вы анкету заполняете или по существу спрашиваете?

— По существу. — Одинцова не повысила голоса. Она вообще, кажется, не умела его повышать, и от этой ровности делалось не по себе сильнее, чем от любого крика. — У меня пропала женщина. Молодая, тридцати ещё нет. По нашим данным, она была близка с вашим бывшим мужем. Так что причина развода — это и есть существо вопроса.

Я надела очки обратно.

Существо. Удачное они подобрали слово для того, что со мной случилось прошлой весной.

— Он мне изменил. Эту женщину, как я понимаю, вы ищете.

Сказать это вслух, в казённом кабинете, чужому человеку с протоколом под рукой, оказалось тяжелее, чем я готовилась. Я проговаривала эти слова десятки раз. Подругам, матери, самой себе перед чёрным зеркалом выключенного телефона. Но там я выбирала интонацию сама. Там я могла подать всё как историю собственной силы: пережила, выстояла, не сломалась, видите, какая я молодец.

Здесь интонацию выбирала не я. Здесь я сидела свидетелем, а может, и кем-то похуже, и моё унижение раскладывали на составные части, прикидывая, не было ли у меня причины желать той женщине беды.

— Расскажите, какой он. Ваш бывший муж.

— В каком смысле какой?

— В прямом. Вспыльчивый? Способен поднять руку? Что с ним происходит, когда он злится по-настоящему, а не для вида?

Я медлила, подбирая ответ честный, но не тот, которого она явно ждала.

— Глеб не кричит, когда злится. Он замолкает. Чем сильнее задет, тем тише говорит. Самый страшный Глеб — это Глеб, который улыбается и роняет слова по одному, как монеты в автомат. Руку он не поднимал. Ни на меня, ни, насколько мне известно, вообще ни на кого. И не потому, что

добрый. Потому что считает это ниже своего достоинства.

— А унизить словом?

— Это умеет. Это он умеет виртуозно.

Одинцова что-то пометила, и я возненавидела это её короткое движение карандашом, потому что не понимала, что именно из сказанного она занесла в протокол и в какую сторону потом повернёт.

— Вам это зачем? — спросила я. — Вы ведь её ищете, не его судите.

— Я ищу её. А чтобы найти человека, иногда надо очень хорошо понять того, кто был рядом последним.

— Когда вы в последний раз видели Глеба Андреевича?

— На разводе. В суде. Мы не подавали друг другу руки и не оставались в одном помещении дольше необходимого.

— А созванивались?

— По бумагам. Раздел имущества тянулся. Пару раз он писал по поводу квартиры и машины, я отвечала через своего юриста. Живого голоса между нами не было с весны.

Я не стала говорить про ночной звонок. Сама не до конца понимала, почему промолчала. Может, потому что этот звонок принадлежал только мне и той странной, выпотрошенной интонации, с которой он произнёс моё имя. Отдавать его в протокол было всё равно что отдать что-то слишком личное в чужие руки, где его непременно испачкают.

— Значит, ночью он вам не звонил.

Я подняла на неё глаза.

Она смотрела ровно, спокойно, без тени торжества, и я поняла, что она знает. Распечатка звонков. Конечно. Они поднимали его звонки в первую же очередь, и моя ночь, мой час перед сном с телефоном у уха лежали у неё в той же папке, что и его переписка с любовницей.

— Звонил, — сказала я. — Ночью. Я не сразу сообразила, к чему вы ведёте.

— И что сказал?

— Что она пропала и что подозревают его. Три фразы. Потом связь оборвалась, рядом с ним был кто-то из ваших.

— И вы решили об этом не упоминать.

— Я решила дождаться вопроса. Вы спросили — я ответила.

— Посмотрите.

Она положила передо мной несколько листов. Распечатка. Я поняла, что это, ещё прежде, чем опустила взгляд, и всё-таки опустила.

Переписка. Его и её. Сообщения, выстроенные в столбик, со временем напротив каждой строки, аккуратно, по-канцелярски.

Я читала, как он писал другой женщине, и это оказалось физически тяжелее допроса, тяжелее заголовка в новостях, тяжелее всего, что было до сих пор. И не потому, что там нашлось что-то особенно нежное. Как раз наоборот. Там были

самые обычные слова, бытовые, про то, во сколько он освободится и заедет ли она к нему. Именно эта будничность и резала по живому. Нежность я бы перенесла. Нежность — это праздник, исключение, вспышка. А вот когда мужчина пишет чужой женщине так же буднично, как тринадцать лет писал тебе, значит, он успел построить с ней ту самую тихую повседневность, из которой на самом деле и состоит брак.

— Узнаёте его манеру? — спросила Одинцова.

— Узнаю.

И вот тут, на самом дне этой боли, что-то царапнуло.

Я перечитала одну строку. Потом ещё раз, медленно, по слову.

Глеб так не писал.

Не по смыслу. По словам. Там была фраза про то, что он «решит этот вопрос в ближайшее время и просит её не нагнетать». Не нагнетать. Глеб не говорил «не нагнетать». Это было не его слово, не его регистр. Он написал бы «не накручивай» или просто «прекрати», коротко, по-хозяйски, как привык распоряжаться всем вокруг. «Не нагнетать» так пишут люди, которые составляют деловые письма и которым важно звучать гладко, обтекаемо, юридически безупречно.

Я тринадцать лет читала его сообщения. Я знала его письменный голос, как знают походку близкого по шагам в коридоре, ещё до того, как он войдёт. И сейчас в одной из строк чужой человек шёл чужой походкой и притворялся, что он

Глеб.

Я не сказала этого вслух.

Сама не понимала почему. Может, не доверяла собственному наблюдению, выросшему из боли, потому что боль скверный свидетель и видит то, что ей удобно. Может, не собиралась помогать следствию там, где меня об этом не просили по-человечески, а вели как подозреваемую. А может, мысль была ещё слишком хрупкой, чтобы вытаскивать её на казённый стол, где её немедленно затопчут.

Я просто запомнила. Сложила и убрала внутрь, как убирают чек, который пока не нужен, но выбрасывать рано.

— Что-то не так? — Одинцова, оказывается, следила за моим лицом. Глупо было ожидать от неё пропустить такое.

— Тяжело читать. Что тут может быть так.

— Понимаю.

Ничего она не понимала. Но прозвучало почти по-человечески, и я почти простила её карандаш.

— Скажите честно, Вероника Андреевна. — Одинцова собрала листы обратно в папку, выравнивала их постукиванием о стол. — Вы могли бы его покрывать?

— Глеба?

— Бывшие жёны разные бывают. Одни мечтают утопить и приходят на процесс как на праздник. Другие, как ни странно, защищают до последнего вздоха. Особенно если за плечами общая жизнь и общие дети.

— Детей у нас нет.

— Тем более интересно, что вы здесь и осторожничаете с каждым словом.

Я смотрела на неё и понимала, что она по-своему права, что в её работе иначе нельзя, и всё-таки во мне поднялось горячее, злое.

— Вы плохо представляете, чего мне сейчас хочется. — Я говорила медленно, придерживая голос, чтобы не сорваться на крик в казённых стенах. — Покрывать человека, который вытер о меня ноги ради молодой девочки, это последнее, на что я способна. Если он виноват, пусть отвечает по всей строгости. Я не приду рыдать в коридоре и просить за него. Я отвечаю на ваши вопросы только потому, что меня вызвали повесткой. Это совсем не то же самое, что защита.

— То есть если выяснится, что это сделал он, вы не удивитесь.

Я хотела сказать «не удивлюсь». Это был правильный ответ, ответ преданной женщины, и он лёг бы ей в папку ровно и удобно, без единого зазора.

Но во рту у меня всё ещё стояло это «не нагнетать», чужое, кривое, неправильное, и я не смогла произнести гладкую ложь.

— Я отвечу, когда вы найдёте женщину. Живой или нет. Пока её нет, я ничего не знаю наверняка. И вы, между прочим, тоже.

Одинцова чуть приподняла бровь. Впервые за весь разго-

вор я сказала что-то, чего она не ждала, и это её зацепило, я видела.

Телефон ожил, едва Одинцова отвернулась к монитору. Мама. Я отклонила вызов, но он повторился сразу же, упрямо, и я поняла, что новости она уже видела.

— Я выйду? — спросила я.

— Выходите. Вы пока свободны.

Пока. Хорошее слово, под статью «существу». Я вышла в коридор и приняла звонок.

— Вероника! Ты где? Что творится, мне звонят все подряд, спрашивают, а я ничего не знаю!

— Мам, я в порядке. Меня вызвали как бывшую жену, ничего больше.

— Как бывшую жену! Тебя в полицию таскают из-за этого... из-за него! Я же тебе говорила, я с самого начала тебе говорила, что этим всё кончится!

Ничего она с самого начала не говорила. Мама полюбила Глеба больше, чем меня, в первый же год, потому что он привозил ей путёвки в санатории и чинил всё, до чего она не могла дозваться годами. Но память у матерей избирательная, и теперь выходило, что она предвидела беду ещё на свадьбе.

— Мам.

— Что мам? Я тебе мать! Я имею право знать, не посадят ли мою дочь!

— Никто меня не посадит. Я ни при чём. И он, скорее все-

го, тоже ни при чём, просто пока это никому не докажешь.

Я сказала это и сама вздрогнула. Я защитила Глеба. Вслух, матери, в коридоре следственного отдела. Я, которая семь месяцев не могла произнести его имя без того, чтобы внутри не свело.

— Что значит ни при чём? — Голос матери взлетел. — Он тебя бросил ради девки, а ты его выгораживаешь?!

— Я не выгораживаю. Я кладу трубку, мам. Мне нельзя сейчас по телефону.

Я нажала отбой и постояла, глядя на погасший экран. Внутри было гадко. Гадко оттого, что мать права в основном, и гадко оттого, что в одном, в самом неудобном, права я, а не она.

В коридоре, почти у выхода, я столкнулась с человеком, которого узнала по фотографиям в деловых лентах. Кирилл Сомов, адвокат Глеба. Нервный, быстрый, с тем особым лицом людей, что спят по четыре часа и держатся на одной воле и крепком чае. Он скользнул по мне взглядом, прикидывая, кто я и насколько опасна, и, кажется, узнал, потому что приостановился и открыл было рот.

— Не сейчас, — сказала я раньше, чем он начал. — Я вам не свидетель защиты.

— Вы даже не знаете, о чём я хотел.

— Знаю. У вас на лице написано. Вам нужна бывшая жена, которая расскажет, какой он был хороший семьянин до

того, как перестал им быть. Поищите кого-нибудь другого.

Он не обиделся. Люди его профессии не обижаются, они считают.

— Вы напрасно так, — сказал он мне в спину, негромко.
— Возможно, именно вы видите в этом деле то, чего не видим мы все.

Я не обернулась. Но шаг сбился, и я знала, что он это заметил.

Уже у самой двери Одинцова окликнула меня. Спокойно, без нажима, тем же ровным голосом, каким спрашивала всё это время.

— Вероника Андреевна. Один вопрос напоследок.

Я обернулась.

— Вы уверены, что знаете, на что способен ваш бывший муж?

Я не ответила. Толкнула тяжёлую дверь и вышла на улицу, где меня никто не ждал, где не нужно было держать лицо, и только там, у машины, позволила себе постоять, прислонившись лбом к холодной крыше автомобиля, заказанного через приложение.

Всю дорогу домой я слышала не её вопрос.

Я слышала ту строчку из чужой переписки, которую он, по их твёрдому мнению, написал своей любовнице. «Не нагнетать». Два слова, которые Глеб никогда в жизни не сказал бы. Два слова, которые написал кто-то другой и подписался

его именем.

ГЛАВА 2.

— Не снимайте пальто, всё равно надолго не задержитесь, но сесть пока не предлагаю, потому что вы должны это услышать стоя.

Кирилл Сомов встретил меня прямо в дверях своего кабинета, не дав ни осмотреться, ни собраться, и обрушил первую фразу так, будто продолжал спор, начатый без меня.

— Я вообще не понимаю, зачем приехала.

— Затем, что я вас позвал, а вы приехали. Значит, понимаете.

Он был прав, и это бесило. Я приехала. Могла не приезжать, могла отключить телефон и забыть, что у меня есть бывший муж и его проблемы. А вместо этого села в машину и притащилась вечером в офис к чужому нервному человеку.

— Пять минут, — сказала я. — У вас пять минут, потом я ухожу.

— Мне хватит трёх, чтобы вы передумали уходить.

Он не сел и мне не дал. Ходил вдоль стола, по-птичьи дёргая головой, и выкладывал передо мной то, что у них есть, по пунктам, загибая пальцы.

— Машина. Его машина по камерам подъезжает к дому Светловой в ту самую ночь и стоит там почти час. Угрозы. В её телефоне сообщения с его номера, прямым текстом, что

он её, цитирую, в порошок сотрёт, если она не уймётся. Соседи. Двое слышали крик из её квартиры, женский, поздно вечером. Квартира. Следы борьбы, опрокинутая мебель, разбитая посуда. И кровь. На рубашке, которую нашли у него дома в корзине для стирки. Её группа.

Он остановился и посмотрел на меня.

— Достаточно?

Я молчала. В горле стоял ком — не от жалости, нет, я ещё не разобрала, от чего, но стоял.

— Это похоже на приговор, — сказала я наконец.

— Это и есть приговор. С таким набором его закроют, и хороший прокурор даже потеть не будет. Мне нужно хоть что-то с другой стороны. Хоть одна трещина.

— И вы решили, что трещину вам принесёт брошенная жена.

— Я решил, что вы знаете его лучше, чем все эти камеры вместе взятые.

За стеклом переговорной я увидела Глеба.

Он сидел один, спиной к двери, и я узнала его не по лицу, лица не было видно, а по плечам, по тому, как он держал голову. И вот тут меня царапнуло во второй раз за этот день.

Глеб всегда держал плечи прямо. Это была его порода, его осанка хозяина, человека, который входит в комнату и комната подбирается. Я тринадцать лет смотрела на эту прямую спину, иногда с восхищением, чаще с глухим раздражением,

потому что прямой была спина и тогда, когда стоило бы согнуться и попросить прощения.

Сейчас спина была не прямая. Он сидел ссутулившись, опустив голову, и под рубашкой проступали лопатки, которых я раньше не замечала. За сутки из него будто выпустили воздух. Он постарел не на сутки — на годы.

— Я войду, — сказала я Сомову. — Одна.

— Веронике...

— Одна.

Он развёл руками и отступил.

Глеб поднял голову, когда я вошла, и я увидела его лицо.

Лучше бы не видела. К чужому, спокойному, виноватому Глебу я была готова. К загнанному не была. У него под глазами лежали тени, губы были искусаны, и смотрел он так, как смотрит человек, который ещё не верит, что всё это происходит именно с ним.

— Ты пришла, — сказал он.

— Не обольщайся. Сомов вытащил.

— Всё равно. Ты пришла.

— Глеб, перестань. — Я осталась стоять, не села напротив, мне нужно было это расстояние. — Я пришла не как твоя жена. У тебя её больше нет. Так что не смотри на меня так, будто я обязана.

— Я знаю, — сказал он тихо. — Знаю, что не обязана.

И от этого тихого согласия мне стало хуже, чем было бы

от спора.

— Расскажи, что случилось. Своими словами. Не для протокола.

Он провёл ладонью по лицу.

— Я не знаю, что случилось. В этом весь ужас. Она пропала, и я узнал об этом, как все, когда ко мне пришли. Мы поссорились за несколько дней до того, да. Крупно. Она требовала... неважно, что она требовала. Я сказал, что между нами всё, что я был дураком, что хочу закрыть эту историю. Она угрожала. А потом исчезла. И теперь выходит, что закрыл историю я. Вот так.

— Ты ездил к ней той ночью?

— Нет.

— Камеры говорят, что твоя машина была у её дома.

— Машина была. Меня в ней не было.

— А кто был?

— Не знаю! — Он впервые повысил голос и тут же осёкся, сжал кулак на столе, разжал. — Прости. Не знаю. Ключи от машины висят дома и в офисе, водитель, я сам, мало ли кто. Я не следил за машиной, я думал о другом.

Я слушала его, и во мне поднималось то, что я гнала весь день. Не жалость. То есть жалость тоже, против воли, к этим лопаткам и теням под глазами. Но поверх жалости поднималась злость, настоящая, давняя, моя.

— Ты понимаешь, что ты сам всё это устроил? — Голос у меня дрогнул, и я разозлилась на него за то, что дрогнул. — Не убийство. Бог с ним, с убийством, в это я даже поверить не успеваю. Я про другое. Ты сам притащил эту женщину в нашу с тобой жизнь. Ты сам разрушил всё, что мы строили. И теперь, когда твоя стройка обвалилась тебе на голову, ты сидишь и зовёшь меня разгрести. Опять меня.

— Я не зову тебя разгрести.

— А зачем тогда твой Сомов выдернул меня сюда?!

— Я его не просил. — Глеб поднял на меня глаза. — Клянись, я его не просил тебя звать. Он сам. Он считает, что ты особенная.

— Особенная, — повторила я с горечью. — Удобная я. Удобная.

Он не ответил. И это его молчание, фирменное, виноватое, было невыносимо, потому что в браке оно сводило меня с ума, и сейчас сводило снова, спустя семь месяцев, будто и не было между нами никакого развода.

Я отошла к окну, чтобы не смотреть на него. Постояла, привела дыхание в порядок. И вот тогда, когда злость чуть отступила, во мне заговорил тот холодный профессионал, которого я отрастила за годы при его делах.

Слишком ровно.

Я прокрутила в голове список Сомова ещё раз. Машина. Угрозы. Крик. Следы борьбы. Кровь. Пять пунктов, и каж-

дый бьёт точно в цель, и все они так удобно лежат рядом, что хоть в обвинительное заключение переписывай без правки.

Жизнь так не складывается. Я это знала по сотням его сделок, по десяткам конфликтов, которые разруливала. В жизни всегда что-нибудь торчит, не сходится, выпадает из схемы. А тут всё сошлось. Машина приехала, и её засняли. Угрозы написались, и они сохранились. Крик раздался, и его услышали. Кровь пролилась, и она оказалась ровно на той рубашке, которую не выкинули, а заботливо оставили в корзине для стирки дома, где её непременно найдут.

Будто кто-то аккуратно разложил улики в ряд. Поправил, чтобы лежали ровнее. И отступил полюбоваться.

— Глеб. — Я обернулась. — Рубашка с кровью. Где её нашли?

— Дома. В корзине с грязным бельём.

— Ты живёшь один сейчас?

— После развода один.

— Кто к тебе вхож? Кто бывает в квартире без тебя?

Он задумался, и в этой паузе я увидела, что он не понимает, к чему я веду, а я и сама не до конца понимала, просто шла на ощупь.

— Домработница. Мать иногда. Савелий заезжает, у него свои ключи остались с тех пор, как мы делами вместе занимались. Сомов пару раз. А что?

— А то, что человек, который убил женщину в борьбе,

не приносит окровавленную рубашку домой и не кладёт её в корзину для стирки, чтобы потом следствие нашло. Он её сжигает. Или выбрасывает за городом. Кто угодно так сделает, даже идиот. А ты не идиот, Глеб, при всех твоих грехах.

Он смотрел на меня, и в его лице медленно проступало что-то, чего там не было минуту назад. Надежда. Страшная, осторожная, как у человека, которому показалось, что в наглухо закрытой комнате потянуло сквозняком.

— Ты мне веришь? — спросил он.

— Я тебе не верю. — Я взяла сумку со стула. — Я тебе никогда больше не поверю, заруби это себе. Но я не верю и тому, что мне показывают. А это разные вещи.

— Вероника.

— Что?

Он встал. Подошёл, не вплотную, но ближе, чем стоило, и я уловила, что от пиджака пахнет чужими духами. Не моими. Её, наверное. Кто-то ведь должен был принести ему вещи, и принесли, видимо, не разбирая.

Я отступила на шаг.

— Не подходи.

— Я только хотел сказать... — Он остановился, и впервые за весь разговор посмотрел мне прямо в глаза, не отводя, не пряча. — Я изменил тебе. Это правда, и я с этим живу. Но я её не убивал, Ника. Что хочешь делай, верь, не верь, но я её не убивал.

Я стояла у двери, держась за ручку, и не уходила, хотя пять минут давно вышли, и три тоже, и всё на свете вышло.

— Я знаю, — сказала я и сама удивилась, что говорю это вслух. — В том-то и беда, Глеб, что я знаю.

ГЛАВА 3.

— Ты должна его спасти. Ты всегда умела разруливать, вот и разрули.

Раиса Ильинична встретила меня на пороге того дома, который тринадцать лет был моим, и не сказала ни «здравствуй», ни «спасибо, что приехала». Она сказала это, повелительно, как говорят прислуге, которая опоздала.

— Здравствуйте и вам, Раиса Ильинична.

— Не время для церемоний. Проходи.

Я прошла. По этому коридору я ходила в тапочках, которые до сих пор, наверное, стоят в кладовке. По этим стенам висели наши фотографии, теперь снятые, остались только светлые прямоугольники на обоях, как следы от снятых повязок.

— Я приехала за документами, — сказала я. — Не за разговором.

— Документы подождут. Сядь.

Она усадила меня в гостиной и села напротив, прямая, собранная, с телефоном на коленях, потому что даже сейчас, в беде, она была современной женщиной, которая ждёт сообщений от подруг и отвечает на них между делом. Я тринадцать лет завидовала ей этой собранности. Что бы ни творилось, Раиса Ильинична всё делала аккуратно. Аккуратно

говорила, аккуратно одевалась, аккуратно ненавидела.

— Послушай меня. — Она сложила руки. — Я не люблю тебя, ты это знаешь. Ты была удобной женой, не более. Но сейчас мне всё равно, люблю я тебя или нет. Мой сын в беде, и ты единственная, у кого хватит ума его вытащить.

— Удобной женой, — повторила я. Слово царапнуло, как и всё сегодня. — Спасибо. Тринадцать лет в одном слове.

— Я говорю что есть.

— А вы помните, кто привёл в эту семью ту женщину? Кто молчал, пока ваш сын разрушал брак? Вы знали. Вы знали раньше меня и молчали, потому что вам было всё равно, лишь бы у Глеба всё было гладко.

Она не отвела глаз.

— Я мать. Я на стороне сына всегда. Это ты должна была удержать мужа, а не удержала.

Меня будто ударили под дых. Не потому что обидно — к её манере я привыкла за годы. А потому что эта женщина умела находить ту самую мысль, которую я и сама себе по ночам шептала, и швырять её мне в лицо в самый неподходящий момент.

Должна была удержать.

Я и держала. Я держала этот дом, его связи, его репутацию, я прикрывала его слабые места на переговорах, я была ему щитом и тылом. А он всё равно ушёл к той, которая ничего не держала, только смотрела на него восхищёнными

глазами и ничего не требовала. До поры.

— Знаете что, Раиса Ильинична. — Я встала. — Раньше я раздуливала, потому что была женой. Жене положено. А теперь я кто? Объясните. Кто я этой семье?

— Ты всё равно Ларина. — Она тоже поднялась, и мы стояли друг против друга, две женщины, связанные одним мужчиной, которого ни одна из нас не сумела сделать счастливым. — Хочешь ты этого или нет, ты носишь нашу фамилию, и в новостях ты Ларина, и тонуть мы будем все вместе. Так что лучше плыви.

Я ушла от неё в кабинет Глеба, чтобы не сказать лишнего и чтобы найти то, за чем приехала.

Кабинет был его весь, до последней мелочи. Я знала здесь каждую полку. Документы по перемещениям, отчёты водителя, путевые листы — всё, что могло подтвердить, где он был в нужные дни, лежало в нижнем ящике, и я опустилась на колени, чтобы его выдвинуть.

Ящик заело. Я дёрнула сильнее, и он выехал весь, вывалив на пол ворох бумаг, а из-под них выскользнул конверт.

Простой почтовый конверт, без марок. На нём её почерк — я не видела раньше её почерка, но поняла сразу, женский, с нажимом, с завитушками. И одно слово: «Глебу».

Я знала, что не должна. Это была чужая переписка, личное, и вообще, может быть, улика. Но руки уже вскрывали конверт, потому что есть вещи, которые сильнее правил.

Внутри лежал один сложенный вдвое лист.

Я развернула его и прочитала. Сначала быстро, глотая строки, потом ещё раз, медленно, потому что с первого раза слова не сложились в смысл, отказались складываться.

Она писала, что устала прятаться. Что больше не намерена быть тенью, любовницей, женщиной для удобства. Что она беременна, и теперь всё изменится, хочет он этого или нет. Что у её ребёнка будет фамилия и будет отец, и пусть он наконец решит, кто он, мужчина или трус.

Беременна.

Я сидела на полу его кабинета, среди вывалившихся бумаг, держала чужое письмо и не могла встать.

Вот, значит, как. Она ждала от него ребёнка. Та, к которой он ушёл, носила под сердцем то, чего у нас с ним не случилось за все годы, сколько мы ни лечились, ни надеялись, ни плакали по очереди в разных комнатах, чтобы не мучить друг друга.

И первым, что поднялось во мне, была не жалость к пропавшей женщине. Не страх за Глеба. Поднялась чёрная, стыдная, жгучая ревность, такая, что я зажала рот ладонью, чтобы не застонать вслух.

Ребёнок. Он мог стать отцом. С ней мог, а со мной не смог.

А потом — стыд за эту ревность, тяжёлый, удушающий. Женщина пропала. Может быть, мертва. Может быть, мёртв

и тот, кого она носила. А я тут, на полу, исхожу ревностью к беременной сопернице, как последняя дура, как та самая брошенная жена из дешёвых историй, которой я поклялась не быть.

Капля упала на письмо и расплылась, размывая её завитки. Я и не заметила, когда начала плакать. Вытерла щёку тыльной стороной ладони и отвернулась к стене, хотя в кабинете никого не было и прятать слёзы было не от кого.

— Ты нашла, что искала?

Раиса Ильинична стояла в дверях. Я не слышала, как она подошла, и быстро сунула письмо обратно в конверт, но по её лицу поняла, что она видела и письмо, и мои слёзы, и всё поняла.

— Вы знали? — Я поднялась, держа конверт. — Про ребёнка вы знали?

Она молчала дольше, чем молчат, когда не знают. Она молчала так, как молчат, когда знают и решают, признаться или нет.

— Знала, — сказала наконец. — Глеб говорил. Я ему сказала, что не верю ни одному её слову. Эта особа на всё была способна ради того, чтобы влезть в семью.

— На всё, — повторила я. — В том числе соврать про ребёнка?

— В том числе.

И в её спокойном, твёрдом «в том числе» было что-то, за

что я ухватилась, как утопающий хватается за соломинку, не разбирая, выдержит она или нет.

Я держала конверт и читала про себя последнюю строчку, которую запомнила наизусть с первого раза, потому что такие строчки запоминаются сразу и навсегда.

«Если ты не женишься на мне, я уничтожу вас обоих».

Вас обоих.

Не тебя. Вас. Двоих. Я перечитывала это слово и думала, что женщина, которая пишет «вас обоих» мужчине, ушедшему от жены, имеет в виду кого-то ещё. Кого-то второго, кто тоже должен бояться. И этим вторым была не я.

Я сложила конверт и убрала в сумку, к документам, за которыми приехала. Знала, что не должна забирать улику. Забрала.

ГЛАВА 4.

— Стойте у двери и ничего не трогайте. И, если можно, не дышите мне в затылок, я и так знаю, что вы мне не доверяете.

Артём Громов даже не обернулся, когда я вошла в квартиру Миланы Светловой. Он стоял посреди гостиной, чуть наклонившись, и смотрел на опрокинутый стул так, будто стул был ему что-то должен.

— С чего вы взяли, что я вам не доверяю?

— С того, как вы вошли. Вы вошли в комнату следователя, а не в комнату подружки. По вам всё видно.

Это было точно, неприятно точно, и я разозлилась — на его наблюдательность и на то, что он прав.

— Я вошла в квартиру женщины, из-за которой развалилась моя жизнь, — сказала я. — Простите, если без улыбки.

— Вот за это уже можно зацепиться. За честность. — Он наконец повернулся ко мне. — Громов. Меня нанял Сомов. И прежде чем вы спросите: да, формально я работаю на вашего бывшего мужа. Но работаю я на факты. А факты в этой комнате врут.

Он был не такой, как я ожидала. Я представляла себе отставного следователя кем-то вроде усталого циника с тяжёлым взглядом. А этот был спокойный, внимательный, с той особой неподвижностью, какая бывает у людей, привыкших

долго смотреть и мало говорить. Седина у висков, и в волосах ещё много тёмного. Очки он то надевал, то снимал, разглядывая что-нибудь вблизи.

— Что значит «факты врут»?

— Подойдите. Только смотрите, куда ступаете.

Я подошла. Он указал на стул, на разбитую вазу, на сдвинутый ковёр.

— Вот сцена борьбы. Красивая. Опрокинуто всё, что должно быть опрокинуто в драке. Стул, ваза, перевёрнут столик. А теперь смотрите внимательно. Ваза стояла здесь, на тумбе. Упала вот сюда. Видите осколки?

— Вижу.

— Они лежат кучно. Аккуратной горкой. Ваза, которую сбили в драке, разлетается, осколки разносит по всей комнате, под мебель, в углы. А эти будто кто-то смёл в одно место и оставил. Их не сбили. Их положили.

Я смотрела на осколки и не могла не видеть того, что он показывал. Один раз увидев, развидеть было уже нельзя.

— Дальше. — Он перешёл к стулу. — Стул опрокинут спинкой к окну. А вот следы на ковре, две вмятины от ножек. Они ведут не туда, куда упал стул. Стул сначала аккуратно подвинули, а потом отдельно положили набок. В драке так не бывает. В драке вещи падают там, где их толкнули.

— Вы хотите сказать, что борьбы не было.

— Я хочу сказать, что борьбу здесь нарисовали. Как деко-

рацию в театре. Кто-то пришёл в пустую или почти пустую квартиру и обставил сцену. Не торопясь, с чувством. Для зрителя. Зритель — это следствие.

Я медленно обошла комнату, теперь уже глядя её глазами, глазами человека, который ищет фальшь, и фальшь была повсюду, стоило начать её видеть.

— Зачем кому-то это делать? — спросила я, хотя ответ уже шевелился во мне, страшный.

— Чтобы посадить вашего бывшего мужа. Кому-то очень нужно, чтобы Глеб Ларин сел.

Я отошла к стене, чтобы перевести дух, и наткнулась взглядом на полку.

Там стояли подарки. Я узнала их сразу, все до единого, потому что половину из них когда-то выбирала сама. Шкапулка, которую Глеб однажды привёз мне из поездки, точно такая же. Часы той же марки, что он дарил мне на годовщину. Он покупал ей то же самое, что покупал мне. Не утруждался даже придумать что-то новое. Просто шёл по проторенной дорожке, по той же, по которой тринадцать лет ходил ко мне.

Я стояла и глотала это молча. Не плакала, нет. Слёзы кончились ещё в его кабинете, над письмом. Осталась только сухая, выжженная злость, которую я держала в кулаке, чтобы не разнести эту полку к чёрту.

— Вам нехорошо? — Громов смотрел на меня.

— Мне прекрасно. — Я отвернулась от полки. — Пока-

зывают дальше.

Он не стал лезть с сочувствием, и за это я была ему благодарна больше, чем за что-либо за весь этот день.

— Здесь, — сказал он, открывая шкаф. — Вот это интереснее всего.

В шкафу, под стопкой одежды, лежала папка. Громов вытащил её затянутыми в перчатку пальцами и раскрыл на столе.

Бумаги. Я наклонилась и в первую же секунду поняла, что это не любовные письма и не личное.

— Это документы компании, — сказала я. — Закрытые. Внутренние.

— Вы уверены?

— Я тринадцать лет читала такие документы. Это финансовая отчётность по проекту. И не текущему. Старому. Видите дату? Это проект давнишний, его давно закрыли. — Я листала, и внутри у меня всё подбиралось, как перед прыжком. — Откуда у неё это? Она руководила продвижением. Рекламой. У неё в принципе не могло быть доступа к таким бумагам. Это уровень совета директоров.

— Значит, кто-то ей их дал.

— Или она их украла. Но красть такое наугад нельзя. Нужно точно знать, что ищешь, и точно знать, где лежит. Эти бумаги ей кто-то принёс. Готовыми.

Громов смотрел на меня с новым выражением, и я поняла, что прохожу какую-то его проверку.

— Вы быстро соображаете, — сказал он. — Сомов не преувеличил.

— Сомов вообще много обо мне говорит для человека, с которым я не знакома.

— Он говорит, что вы единственная видите в этом деле человека, а не схему. Я начинаю понимать, о чём он. — Громов закрыл папку. — Эти документы — ключ. Не к убийству. К мотиву. Кто-то втянул эту женщину в игру с бумагами старого проекта. Дал ей в руки то, чем можно шантажировать. А когда она стала опасна, убрал её и подвёл всё под Глеба.

— И этот кто-то имеет доступ и к её квартире, и к закрытым документам компании, и к машине Глеба.

— Узкий круг, правда?

Я молчала. Круг был узкий. Слишком узкий. И я уже знала, что в этом круге есть человек со своими ключами от квартиры Глеба, оставшимися с тех пор, когда они вели дела вместе.

— Я пойду. — Я взяла сумку. — С меня на сегодня хватит фактов.

— Пойдите. — Громов наклонился к тумбочке у дивана, что-то заметив. — Вы это узнаете?

Он держал на ладони, затянутой в перчатку, серьгу.

Маленькую, золотую, с зелёным камнем. Я смотрела на неё, и пол подо мной поехал, хотя я стояла прочно.

Я знала эту серьгу. Это была моя серьга. Из пары, которую Глеб подарил мне давно, ещё до всего, в хорошие годы. Я потеряла одну из них задолго до развода, перерыла тогда всю квартиру и машину, расстроилась, потому что любила эти серьги. Не нашла. Решила, что закатилась куда-нибудь и пропала навсегда.

И вот она лежала на чужой ладони в квартире пропавшей любовницы моего мужа.

— Это ваша, — сказал Громов. Не спросил. Прочитал по моему лицу.

— Моя. — Голос вышел чужой, я его не узнала. — Я потеряла её много лет назад. Ещё когда мы с Глебом были вместе. Дома потеряла, в нашей квартире.

— А оказалась она здесь.

— Оказалась здесь.

Мы оба молчали, и в этом молчании я слышала, как с тихим щелчком встаёт на место ещё одна деталь чужого, тщательно собранного механизма.

Кто-то взял мою старую серьгу, пропавшую годы назад из квартиры, в которую был вхож, и положил её сюда. В квартиру Миланы. Специально. Чтобы рядом с её исчезновением оказалась и я. Чтобы и меня было удобно втянуть.

Громов опустил серьгу в пакет. А я стояла и понимала,

что моя жизнь, которую я семь месяцев заново собирала по кусочкам, только что снова перестала быть моей.

ГЛАВА 5.

— Объясните мне, Вероника Андреевна, как ваша серьга оказалась в квартире Светловой.

Одинцова положила на стол прозрачный пакет, и в нём лежала моя серьга, маленькая, золотая, с зелёным камнем, и я смотрела на неё и понимала, что петля, которую вчера я ещё чувствовала на шее Глеба, сегодня затягивается на моей.

— Я не знаю.

— Плохой ответ.

— Зато честный. Я потеряла эту серьгу несколько лет назад. В своей квартире. В той, где жила с мужем. Как она попала к Светловой, я понятия не имею. Я никогда не была у неё дома до вчерашнего дня, когда пришла туда с вашего же ведома, с консультантом защиты.

— Удобно. — Одинцова чуть подалась вперёд. — Серьга теряется, а потом находится у женщины, которая разрушила ваш брак. Многие на вашем месте захотели бы этой женщине зла.

— Многие. Но не я.

Она допрашивала меня уже не как бывшую жену. Как фигурантку. Это чувствовалось в каждом вопросе, в том, как она перестала смягчать формулировки.

— Вы встречались с Миланой Светловой? Лично? Хотя

раз?

— Нет.

— Звонили ей? Писали?

— Нет. Зачем мне? Я узнала о ней, когда всё уже случилось. Глеб не представлял мне своих женщин.

— Угрожали?

— Кому, ей? — Я смотрела на Одинцову и пыталась понять, верит она сама в то, что спрашивает, или просто отбрасывает версию. — Мария... простите, не знаю отчества. Вы взрослый человек. Подумайте сами. Если бы я хотела навредить этой женщине и подбросила бы ей свою серьгу, я бы что, оставила свою собственную? С моими отпечатками, с моей историей? Я что, по-вашему, совсем дура?

— Иногда люди в состоянии аффекта делают глупости.

— Я семь месяцев живу в состоянии аффекта. И ни одной глупости пока не сделала. Кроме той, что пришла сюда добровольно отвечать на ваши вопросы.

Она отпустила меня через час. «Пока» — то же самое «пока», которым меня отпускали в прошлый раз. И с этим «пока» я вышла на улицу и поняла, что больше не свидетель. Я теперь тоже в деле, наравне с Глебом, и кто-то очень постарался, чтобы так вышло.

Меня трясло. Не от страха даже, а от ясности. Вчера это была его беда. Сегодня — наша. Кто-то одной большой рукой загребал нас обоих в одну кучу, и в этом был расчёт, холод-

ный, точный, и я никак не могла поймать, в чём именно расчёт, чувствовала только его края.

Я села в машину, поехала домой и всю дорогу смотрела в зеркало заднего вида чаще, чем на дорогу.

Привычка. После таких разговоров начинаешь оглядываться.

Возле моего дома стояла машина.

Тёмная, ничем не примечательная, средний класс, каких на любой парковке десятков. Я бы и не заметила её, если бы не одно: она стояла на том месте, где обычно никто не паркуется, потому что оттуда видно и подъезд, и мою машину, и окна.

Я загнала машину на своё место, вышла, нарочно повозилась с сумкой, наклонилась, поправила обувь. Краем глаза следила.

В тёмной машине сидел человек. Один. Он не вышел, не уехал, не говорил по телефону. Он просто сидел и смотрел.

Я пошла к подъезду медленно. И когда я тронулась, тронулась и тёмная машина — не за мной, в сторону, но именно тогда, когда тронулась я. Будто человек убедился, что я дома, и снялся с поста.

Слежка. За мной следили.

В подъезде я привалилась к стене у лифта и стояла так, пока сердце не перестало частить.

За мной следят. За мной, Вероникой Лариной, тридцати семи лет, которая всю жизнь была чьим-то тылом, чьей-то опорой, удобной женой, надёжной спиной, а теперь сама стала мишенью в чужой игре, правил которой не знает.

Я достала телефон, чтобы вызвать лифт, и в этот момент он зазвонил.

Глеб.

— Не сейчас, — сказала я вместо приветствия. — У меня был тяжёлый день.

— Ника, послушай. Сомов сказал, что тебя вызывали. Что нашли твою серьгу. Это переходит все границы, тебя нельзя в это втягивать, я что-нибудь придумаю, я не позволю...

— Ты не позволишь? — Я засмеялась, и смех вышел недобрый. — Ты уже всё позволил, Глеб. Ты позволил этому случиться, когда привёл её в нашу жизнь.

Лифт пришёл, открылся, я не вошла. Стояла в подъезде, прижав телефон к уху, и из меня полилось то, что копилось два дня и тринадцать лет.

— Где ты был со своей защитой, когда таскался к ней? Где был великий защитник Глеб Ларин, который сейчас всё придумает, когда я узнавала о тебе из новостей? Когда я в одиночку держала лицо перед всеми, кто знал и шептался за спиной? Тебя не было. Ты был занят. У тебя была другая жизнь, новая, молодая. А теперь у тебя проблемы, и ты вспомнил, что есть Вероника, которая разрулит и которую

заодно можно прикрыть собой, чтобы выглядеть мужчиной!

— Это другое, — сказал он тихо.

— Для тебя всё всегда другое! У тебя на всё есть «это другое»!

Я задохнулась от собственного крика и замолчала. В трубке было тихо. Он не оправдывался. Опять не оправдывался.

— Я еду к тебе, — сказал Глеб.

— Не смей.

— Я уже еду.

Он приехал через двадцать минут, и я встретила его внизу, на парковке, потому что не хотела пускать в квартиру, в своё новое, отвоёванное пространство, где не было его.

Он вышел из машины и пошёл ко мне, и я увидела, что он не спал и эти сутки, что лицо у него серое, что он держится на одной воле, как и его адвокат.

— Уезжай, Глеб. Тебе нельзя ко мне. За мной следят, ты понимаешь? Если нас увидят вместе, будет только хуже нам обоим.

— Тем более я не оставлю тебя одну.

— Я была одна семь месяцев! — Я почти кричала. — Я научилась! Уезжай!

Он схватил меня за руку. Не грубо, но крепко, удерживая, и я рванулась, и не вырвалась с первого раза, и от этого взбесилась окончательно.

— Отпусти!

— Ника, послушай меня одну секунду...

— Отпусти, я сказала!

Я вырвала руку и ударила ладонью по капоту его машины, плашмя, со всей злости, так что ладонь обожгло и зазвенело в ушах. Он отступил.

— Уезжай, — повторила я уже тише, потому что на крик не осталось сил. — Просто уезжай. Я не могу тебя сейчас видеть. Не могу, понимаешь?

Он постоял ещё секунду. Потом сел в машину и уехал.

И когда красные огни скрылись за поворотом, я поняла, что почему-то жду, что он вернётся. И от того, что он не вернулся, мне стало больно так, будто он бросил меня заново, второй раз, прямо сейчас, на этой парковке.

Я поднялась к себе, заперла дверь на все замки и на цепочку, чего раньше никогда не делала.

Телефон пиликнул. Сообщение. Я открыла, думая, что Глеб.

Номер был незнакомый. Текст короткий.

«Не лезь, бывшая. Будешь лезть — следующей пропадёшь ты».

Я стояла посреди прихожей, в запертой на цепочку квартире, держала телефон с этими словами и понимала, что теперь точно не отступлю. Не потому что смелая. Потому что тот, кто пишет такое, боится. А раз боится, значит, есть чего.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.